

- 35 *Великий князь Александр Михайлович*. Указ. соч. С. 244.
36 *Великий князь Андрей Владимирович*. Дневники 1915–1917 гг. С. 331.
37 *Великий князь Александр Михайлович*. Указ. соч. С. 227.
38 *Великий князь Андрей Владимирович*. Дневники 1915–1917 гг. С. 334.
39 *Великий князь Гавриил Константинович*. Указ. соч. С. 219.
40 *Романова М.* Воспоминания великой княжны. С. 289, 293.
41 *Великий князь Николай Михайлович*. Записки. С. 105.
42 Цит по: *Кудрина Ю. В.* Из архивного наследия императрицы Марии Федоровны. С. 71.
43 Дневники императрицы Марии Федоровны. С. 171, 174.
44 *Кудрина Ю. В.* Из архивного наследия императрицы Марии Федоровны. С. 74.
45 *Палеолог М.* Указ. соч. С. 271, 290, 328.
46 *Романова М.* Воспоминания великой княжны. С. 298, 299.
47 *Великий князь Гавриил Константинович*. Указ. соч. С. 222, 226.
48 *Коковицов В. Н.* Указ. соч. С. 394.
49 *Романова М.* Воспоминания великой княжны. С. 305–307, 309.
50 Там же. С. 316, 319, 330, 332.
51 *Великий князь Александр Михайлович*. Указ. соч. С. 233–235.
52 Там же. С. 241.
53 Дневники императрицы Марии Федоровны. С. 179–181, 189, 191.
54 *Кудрина Ю. В.* Из архивного наследия императрицы Марии Федоровны. С. 76–78.
55 Дневники императрицы Марии Федоровны. С. 194–195, 198, 210.
56 Там же. С. 211, 219.
57 Там же. С. 204.
58 Там же. С. 231, 234, 239, 252

Н. А. Стрижкова
Москва

**Особенности взаимоотношений
в среде пролетарских писателей в 1930-е годы
(по материалам дневников Ф. В. Гладкова,
А. Н. Афиногенова, А. К. Гладкова)**

1930-е годы остались в истории как период формирования тоталитарного режима, годы массовых репрессий и социального оптимизма, «великого перелома», нарушившего мирный ход социальной жизни, и успехов первых пятилеток. А наряду с этими масштабными и драматическими событиями происходило становление и развитие советского общества, формировалось новое поколение советских людей.

В последние десятилетия социальная культура советской эпохи и повседневная жизнь общества вызывает особенный интерес у исследователей. Стало очевидным, что умонастроение и психологические ориентации людей являются самостоятельным фактором политического развития. Свидетельством повышенного внимания к социальной истории является активная публикация эпистолярного наследия советской эпохи, исследование источников личного происхождения: мемуаров, писем, дневников, которые в наибольшей степени отражают детали и колорит повседневности и культуры. Зачастую эти источники принадлежат представителям интеллигенции.

Русская интеллигенция всегда играла важную роль в общественной жизни и культуре, поиск ответов на «вечные» и «проклятые» вопросы в нашей стране был традиционно ее прерогативой. Особенностью русской интеллигенции является еще и то, что она активизируется в кризисные моменты общественного развития, при этом ее деятельность всегда опосредована письменными практиками.

В 1930-е гг. интеллигенция столкнулась с проблемой адаптации к новым историческим условиям, в сфере культуры происходила переориентация системы ценностей, искоренение прежних идеалов и традиций и возникновение новых. Скрылся за поворотом истории блистательный Серебряный век русской культуры, отшумели общества и кружки 1920-х гг., и на смену им пришли союзы, пленумы и съезды. Творческая интеллигенция была втянута в идеологический проект государственной власти, художник оказался заложником эпохи, служителем (зачастую невольным) сильной власти и «великой идеи». В этих обстоятельствах возникает необходимость самоопределения, самоидентификации, определения своего места и роли в государстве и новых общественных отношениях.

В культурном пространстве советской действительности 1930-х гг. особая роль была отведена писателям. Они должны были стать рупорами эпохи, идейными вдохновителями и строителями нового советского общества, «инженерами человеческих душ». Общий литературный цех — Союз советских писателей, дом в Лаврушинском переулке, дачный поселок Перedelкино, совместные путешествия по местам «великих социалистических строек» — все это составляло мир советского литератора, щедро подаренный властью в обмен на лояльность, преданность и идеологическую солидарность. «Писательский улей жужжал почти единообразно, как большое и управляемое сообщество»¹. Но это был фасад, видимость, за которой скрывались судьбы конкретных людей, искавших свой путь в новой советской действительности, вынужденных ежедневно вырабатывать свою модель поведения в утративших прозрачность социальных отношениях. Так, советский поэт Владимир Луговской писал: «Утро — это вся разобщенность, чудовищная дифференциация общей схемы жизни. Каждый раз перед тобой вырастает тысяча маленьких вопросов... Каждое утро я как мирный и мыслящий человек облачаюсь на глупую войну с обстоятельствами, одевая свое условное оружие. Я напяливаю носки, башмаки, костюм, я принимаю дозу пищи и отправляюсь в драку»².

М. А. Булгаков представил в своем бессмертном произведении «Мастер и Маргарита» полную драматизма жизнь писателей 1930-х гг. Некоторым из них, как герою романа, пришлось выбирать между тюрьмой, сумасшествием и самоубийством, другие, впрочем, достигли благополучия.

Долгое время в исследованиях принято было делить писателей на советских и несоветских, пострадавших от власти и обласканных ею, на доносчиков и «внутренних эмигрантов». Но формы поведения, стратегия творческой и повседневной жизни, сценарии профессиональной и личной биографии были более многообразны и всегда индивидуальны. «Положение героев тех лет много раз менялось местами, то из гонимых они превращались в гонителей, то, наоборот, — в изгоев»³. В последние годы выходят статьи и монографии, в которых мир советской творческой интеллигенции и в частности литераторов исследуется более детально и глубоко⁴. Все большее внимание уделяется «частным историям с друзьями и разрывами», которые, по верному замечанию литературоведа и исследователя Н. Ю. Громовой, «открывают подлинное лицо той жизни»⁵.

Исследованию внутренней жизни человека, его независимых суждений о времени, о себе и современниках способствуют, прежде всего, источники личного происхождения, среди которых наибольшую ценность представляет дневник. Именно дневник как источник, в котором «взгляды автора отражены в их первоначальной форме без последующих наслоений, и, как правило, с предельной откровенностью»⁶, позволяет изучить скрытые от прямого наблюдения процессы самоидентификации, поиска своего места в новых исторических условиях, мотивы определения позиции по отношению к власти и коллегам. А в условиях советской диктатуры дневник стал одной из немногих возможностей проанализировать и осмыслить происходящее, зафиксировать правдивые картины своей жизни в контексте эпохи.

Дневники писателей советского периода уже давно вызывают большой интерес у исследователей. Сенсацией стала публикация записей Вс. Вишневского, К. И. Чуковского, М. М. Пришвина. Но государственные и семейные архивы хранят многочисленные неопубликованные дневники, исследование которых позволит внести существенные дополнения в общую картину повседневной жизни советского общества, составить более детальное представление о мировоззрении представителей советской культурной элиты и особенностях взаимоотношений в творческой среде.

Настоящая статья основана на хранящихся в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) дневниках советских литераторов Ф. В. Гладкова, А. Н. Афиногенова, А. К. Гладкова. Эти литераторы являются представителями нового поколения творцов советской литературы, сформировавшихся в революционные годы, стоявших в авангарде строителей новой социалистической культуры, участников I-го Съезда советских писателей в 1934 году.

Федор Васильевич Гладков (1883–1958) принимал участие в революционном движении, участвовал в гражданской войне, являлся членом ВКП(б), был автором романов «Цемент» и «Энергия», сделавших его одним из самых популярных советских писателей.

Александр Николаевич Афиногенов (1904–1941) — драматург, публицист, теоретик драмы. В начале 1930-х гг. Афиногенов — один из руководителей РАПП, за что и пережил впоследствии период жестокой травли, с 1934 г. — член президиума правления Союза писателей СССР, редактор журнала «Театр и драматургия».

Александр Константинович Гладков (1912–1976) — начинающий драматург, киносценарист, впоследствии автор комедии в стихах «Давным-давно», а также пьес «Бессмертный», «Новогодняя ночь», «Ночное небо» и др. Работал в театре В. Э. Мейерхольда.

Их дневники отражают советскую действительность 1930-х гг., культурные процессы, происходящие в этот период в стране, особенности новых взаимоотношений в среде писателей, и, что наиболее важно, — поиск своего личного места и статуса в этой среде.

В исследуемый период литераторы имели различный социальный статус и возраст. Ф. В. Гладков — признанный, уже немолодой советский писатель. А. Н. Афиногенов в 1930–1931 гг. находился на пике своей литературной карьеры, его пьесы шли в Московских театрах, он стоял у руководства пока еще влиятельной организации РАПП, но уже в 1932 г. 28-летний драматург оказался на

границ ареста. А. К. Гладков в 1930-е лишь начинал свою литературную карьеру, будучи еще очень молодым человеком, он только входил в пространство советской литературы, знакомился с миром литераторов. Это различие положения и возраста оказали прямое влияние на содержание дневников, охват событий советской действительности, взгляды и оценки.

Александр Гладков встречает 1930-е гг. оптимистично и восторженно. Дневник 1932 г. назван «Дневником оптимизма», страницы его пестрят названиями просмотренных спектаклей и кинофильмов, новыми прочитанными произведениями, именами советских и иностранных литераторов, среди которых А. Платонов и А. Блок, С. Есенин и Н. Тихонов, В. Шкловский и В. Катаев, В. Хлебников и М. Пруст, Л. Фейхтвангер и Р. Роллан, и др. Молодой драматург ощущал себя в центре стремительно развивающегося многогранного мира советской культуры, он был полон собственными литературными замыслами, характерными для той эпохи: «Надо найти платформу в новой теме. Тема эта: “Я и эпоха”, “Я и страна”, “Я и революция”, “Я и вообще жизнь”»⁷.

При таком позитивном настрое для него совершенно неожиданной и обескураживающей стала новость о самоубийстве В. В. Маяковского, неестественной, казалось бы, в атмосфере торжествующей социалистической действительности: «Вчера прочел о самоубийстве Маяковского. Это все равно, что сказать, что Сельвинский спился или Безыменский написал антисоветскую поэму»⁸.

Тревожных симптомов надвигающейся драмы А. Гладков не чувствует, он не участвует в процессах, которые происходят в писательском мире, ему не приходится пока делить жизнь на личную и общественную и, как Александру Фадееву, «в частной жизни ценить и искренне любить поэзию Пастернака, а на политической арене предавать его анафеме»⁹.

А. Гладков еще не вошел в профессиональную среду советских писателей. Это позволяло ему искренне и открыто восхищаться Б. Л. Пастернаком, ставить его над всей советской литературой, имя Пастернака в дневнике Гладкова сопровождают эпитеты «вечный», «неизменный», «сложный и удивительный», его творчество он считал мерилем совершенства поэзии. Среди прозаиков такое же влияние на Гладкова оказывал М. М. Пришвин. Проза Пришвина характеризовалась им как «истинная подлинность оригинальности таланта... У меня любовь к нему (М. М. Пришвину. — Н. С.) какая-то родственная, кровная, немного религиозная, она яснее и подлиннее всех ежедневных увлечений...»¹⁰. Произведения Пастернака и Пришвина для Гладкова являлись литературой, проявляющей подлинный талант, дающей нравственные ориентиры.

В сознании А. Гладкова сложилось четкое разделение всего литературного пространства на советских литераторов — «рабочий цех» служителей эпохи и идеи, и настоящих творцов, «мастеров». Он с восторгом и безусловным пиететом читает ходившие по Москве произведения М. Цветаевой, О. Мандельштама, Н. Гумилева, А. Белого, В. Хлебникова:

«По городу ходят волшебные-прекрасные стихи Марины Цветаевой “Мой стан” и “На смерть Волошина”. А недавно в садике у дома Герцена Д. Бродский читал мне и Лаврову стихи Мандельштама на смерть А. Белого. Да, еще есть стихи в этом мире»¹¹.

Советская литература оценивается им на предмет ее созвучия эпохе, А. Гладков спокойно и критически рассуждает о стихах Э. Багрицкого и

И. Сельвинского, произведениях В. Каверина и И. Эренбурга. Наряду с этими рассуждениями о советской литературе Гладков пытается определить свое место и причисляет себя к новому молодому поколению литераторов, впитавших уроки «мэтров», преодолевающих ошибки современников, поэтому процессы, происходящие в литературной среде, он оценивает не с позиции участника, а с позиции наблюдателя.

Совсем иной взгляд на происходящее в литературной среде был у А. Н. Афиногенова и Ф. В. Гладкова. Им было свойственно ощущение зыбкости своего положения в литературе, атмосферы всеобщего заговора, закулисных интриг, предательства и доносов. Ф. В. Гладков пишет в дневнике 1931–1932 гг.: «Замалчивание — особый вид ненависти и трусости... Одинок, нет ни одного человека, с которым можно было бы дружески сойтись. Тягостное время я переживаю, идет компания замалчивания — значит, ничего не сказать. Идет свирепое, очень последовательное преследование»¹².

Подобные записи находим и в дневнике А. Афиногенова: «Как жить среди таких двурушников, трусов и слабодушных! Зачем ему (Вс. Иванову. — Н. С.) понадобилось быть со мной в хороших отношениях, считать и называть меня своим другом, а потом — ударить в спину»¹³.

В 1930-е гг. А. Афиногенов написал две пьесы под названием «Страх» и «Ложь», в которых советская действительность, пусть и устами отрицательных персонажей, была названа эпохой большого страха и всеобщей лжи.

А. Афиногенов и Ф. Гладков обличают процветающий в советской литературной среде вождизм и кружковщину. Гладков делает нелицеприятные записи о М. Горьком и его окружении: «С Горьким не вижусь. Звонить об аудиенции — не в характере. Великие люди меня стесняют. Мне невыносимо тяжело и противно. В поведении великих людей есть что-то хамское и унижительное. Горький не только не простой, он — невыносимый. Он живет среди челяди жополизов»¹⁴.

И схожая запись у Афиногенова:

«Да, его все балуют и заговаривают с ними первые, а ты стой в стороне и смотри, потому что еще ничего не сделал такого, за что бы тебя следовало баловать. Значит, ходи как неприкаянный и смотри на игру интересов. Смотри, как Ф[един] обхаживает Ш[олохова] — он его спаивает и целует пьяно, но с хитрецой. Смотрит глазами холодными и хитрыми в рот вождю и ждет, когда тот уже скажет что-нибудь такое, на что можно рассмеяться. Тогда Ф[един] начинает смеяться, давит себе на диафрагму и смеется долго, громко до крика, тонким козлиным смехом, а глазами все косит на вождя, доволен ли эффектом»¹⁵.

Дневники Ф. В. Гладкова и А. Н. Афиногенова наполнены зарисовками портретов современников-литераторов, записями о том, как «Леонов изображается, играет в непоследовательность, с Г[орьким] — подхалим»¹⁶, «о Катаеве все гнусные сплетни. Откуда они пошли? Накоряков¹⁷ уже выбросил его имя из плана, все уже спешно страховались», «Ставский¹⁸ уже говорил Иванову: “Не понимаю, кто сказал, что Панферов¹⁹ хороший писатель? Он же просто неграмотный... и вообще, похвалил я Бирюка²⁰, а он — шпион... И ещё трех хвалил, а их тоже забрали, что тут делать”. На собрании писателей-прозаиков Марк Колосов²¹ громил Панферова. Но поделом, поделом тем, кто целью своей критической работы поставил угодливую конъюнктуру — он всегда сорвется, он разоблачит свою внутреннюю пустоту и гниль»²².

Но, осуждая поведение соратников по перу, критикуя всеобщую трусость и неискренность, и Ф. Гладков, и А. Афиногенов играют по тем же правилам, принимают общую стратегию поведения. Ф. Гладков, определяя идейную линию своих произведений, пишет: «Нет одного героя, когда на сцену выступают массы, каждый в этой массе воюет за свое место в жизни. Личное отходит на второй план»²³.

А в обидах и упреках писательской братии прослеживается досада на то, что ему отведена недостаточно важная роль, что он не в авангарде литературного мира. Вслед за критикой М. Горького и атмосферы всеобщего подхалимажа вокруг него, Гладков отмечает:

«Горький подал руку Л[еонову], С[ейфулиной] и Вс. Ив[анову]. А меня как будто не заметил. Вижу, нарочно не заметил (перед этим за неделю я послал ему письмо с просьбой разрешить посвятить ему роман, а он не ответил). Вернулся, сел около Сейфулиной, о которой раньше высказывался презрительно. Прохожу мимо Горького и наклоняюсь над ним, чтобы испытать, действительно ли он не заметил меня или притворяется. “Разрешите пожать Вам руку, Алексей Максимович?” Он мелочен, если есть грязь, надо было вызвать меня и проверить, а тут отворачивается, мразь... Вечер страшный, он может убить человека. И Горький уже не человек, это — идея, живой памятник»²⁴.

А. Афиногенов и Ф. Гладков — литераторы, еще недавно стоявшие в первых рядах советской литературы, переживают и критикуют скорее не общую ситуацию в среде писателей, а свое, по их мнению, незаслуженное отстранение и унижение. Так, Афиногенов пишет в дневнике 1938 г. о себе в третьем лице и своем положении в мире писателей:

«Он (А. Н. Афиногенов. — Н. С.) слышал отдельные голоса, выкрики, гневные фразы, ему было ясно, в нем нашли виновника все эти люди, которые сами были тоже виноваты и теперь лихорадочно искали повода, как бы свалить вину с себя... как будто собрали пауков в банку и они сидят в ней, источая из себя злобы бешеной слюны на всех, кто оказался вне их — счастливее, удачнее, лучше. Это — собрание драматургов!.. Как радуются мелкие сердчишки, хоть здесь куснуть, лягнуть... и как душно становится от злобных их улыбочек»²⁵.

В поведении каждого соратника по перу они видят черты и своего собственного поведения — те же страх, подозрительность и неискренность в разговоре. А. Афиногенов фиксирует в дневнике: «Пришел Аксенов, сидел два часа и говорил, что Погодин был в контрразведке, Тальников²⁶ — писал у Деникина, Шпет²⁷ — арестован... Мямлил о Шекспире и его наследии, потом долго прощался и, наконец, ушел, оставив запах чего-то нудного и неинтересного, хотя и весьма образованный человек сам по себе»²⁸.

Подобная запись есть в дневнике М. М. Пришвина: «Был у него (Б. Пильняка. — Н. С.), ночевал, выслушал его исповедь: признался в дружбе с генералом от ГПУ, раскаялся в своем поведении и т.п. В конце концов, у меня осталось, будто я был у публичной женщины и не для того, чтобы воспользоваться ей, а только выслушать ее покаяние»²⁹.

Не удивительно, что в такой атмосфере всеобщего недоверия, подозрительности и неискренности, многие литераторы восприняли создание Союза советских писателей и I-й Съезд ССП без энтузиазма, как очередную видимость, а не проявление реального единства писательского мира.

«Мы избалованы вниманием страны, но нам не хватает внимания друг к другу, — пишет в дневнике А. Афиногенов, — просто дружеского внимания ко всему, что наш товарищ рядом с нами делает. Писатель говорит со страной, страна прислушивается к писателю. Это ощущение связи с писателем, неизбежно теряется тогда свежесть восприятия жизни. Как сохранить себя в непрерывном ощущении общения с людьми страны, в общении друг с другом»³⁰.

А Ф. Gladков оценил съезд писателей так: «Подготовка к Съезду писателей. Члены — болтуны. Каждый старается свалить ответственность на других»³¹.

При враждебности своего литературного окружения, каждый литератор искал защиты и справедливости во внешней силе, которой являлась власть в лице самого Вождя. В нем видели защиту и справедливое возмездие. Ф. Gladков пишет: «Если будет совсем невыносимо жить, обращусь, как к последнему оплоту, с некой надеждой на защиту — к Сталину. Горький меня не только [не] поддержит, а доконает»³².

Афиногенов, переживший годы ожесточенной травли, живший долгое время в ожидании ареста после расстрела соратников по РАППу В. Киршона и Л. Авербаха, запишет в дневнике: «И вот — начало нового года! Личная записка от самого Сталина! Я не мог поверить, читал и перечитывал ее. Впервые после многих лет снова его рука пишет мне, и сразу — прилив нового вдохновения, благодарности к нему, нового желания работать и писать, писать, писать!»³³.

Возможно, этим и объясняется равнодушие, а иногда и торжество, с которыми писатели восприняли репрессии середины 1930-х гг. Страх за свою жизнь уживался с представлением об этой охоте за людьми как возмездии. Запись из дневника Афиногенова:

«Я в смятении, почему меня обливали и смешивали с грязью? Тогда я прямо указывал на Ставского. Потом его выбрали в Верховный Совет. А теперь — идут заседания ЦК, где писатели один за другим разоблачают перед секретарями ЦК его истинную природу, и он молчит, он уже не существует в литературе, все понимают, что с ним нельзя ни жить, ни работать вместе. И Погодин идет ещё дальше, он думает, что если Ставского оставят на свободе — это будет для него великой милостью. О большем он пусть и не мечтает. И вот теперь вспоминаются мои строки о нем. Теперь они оправдываются. Ему придется ответить за всех подлецов и шпионов, которых он укрывал брюхом своим и спиной, за все изломанные женские жизни, за всю свою свиную трусость и беспринципность... Он ведь психологически — один из законченных рапповских типов, питомцев авербахо-киршонцев, они его и вытаскивали, и благословляли на работу против кого — уже не помню. Он же их предал, как предавали сами они и все их выдвигенцы»³⁴.

А. К. Gladков, присутствовавший на некоторых заседаниях и показательных процессах, но сохранивший взгляд стороннего наблюдателя, записал в дневнике:

«Днем на продолжающемся в Союзе писателей собрании драматургов. Клубок страстей, но, боюсь, что меньше всего политических. Под прикрытием политформулировок — сведение счетов. Фигура Вс. Вишневского во многом потеряла для меня свое обаяние. Сегодня в “Советском искусстве” его остервенелая статья “Добить троцкистов в искусстве”, — о Киршоне и авербаховцах. В чем-то он может быть и прав, но чувствуются нотки мести и сведения счетов за обиды, накапливающиеся годами... Все это совершенно голословно, но сейчас этого рода

демагогия пахнет кровью. Я всегда предпочитал Вишневого Киршону и его компании, но такой подстрекательский визг мне противен»³⁵.

А. Гладков воспринимал эти события как очищение дороги молодому поколению литераторов, долгожданное наступление справедливости:

«Но соль истории заключается в том, что не они, эти коммунистические Бэббиты³⁶, понесут на своих плечах завтра, а мы, или такие, как мы. Меня не приняли в горьком писателей как творчески себя не проявившего. Нечего говорить, что Фурманский уже больше года член этого заведения. Будущее принадлежит мне, хронически голодному, просяживающему штаны в Ленинской библиотеке, Якову, уныло слушающему [нрзб.] златоустов в Главуче, Москвичевой, раздавленной отчаянием и стыдом своего вынужденного безделья и тем другим, которые так же одиноко, как и мы накапливают свои силы... неизвестные до времени и которые в горьком писателей означатся как творчески себя не проявившие»³⁷.

Не без радости пишет о репрессиях в среде литераторов Ф. Гладков, также воспринимая это как возмездие за все свои обиды:

«Потрясающее письмо ЦК о мерзавцах, злодеях, гнусных троцкистско-каменевских-зиновьевских убийцах. Всех их надо, наконец, уничтожить. Этого требует наш пролетарский гуманизм. Именно во имя нашего гуманизма необходимо всех этих сукиных детей истребить, обезвредить надо страну и общество от гадов. Интересно, что вся эта сволочь в своей мелюзге — из наших критиков — подлюка на подлюке»³⁸.

Среди множества сюжетов и тем, изложенных в дневниковых записях, одной из центральных является поиск творческой и профессиональной самоидентификации в советской культуре 1930-х гг., своей роли и статуса в литературной среде.

Мир советской культурной элиты отражен в дневниках литераторов красочно, но одновременно негативно. Окружение, состоявшее из коллег и соратников по перу, представлено в дневниках как источник тоталитаризма, морального и психологического террора, лжи, лицемерия, подавления личной и творческой свободы. Приближенный к власти писательский мир был полон внутренней борьбы за благополучие, должный статус и славу. В 1930 г. А. Гладков, только начинавший свою литературную карьеру, записал в дневнике: «я хочу быть равным среди замечательных людей нашего времени... Я хочу, чтобы при жизни я стоял наравне с лучшими людьми»³⁹, а уже в 1934 г. в его дневнике появляется запись иного настроения: «Уехать бы куда-нибудь на Дальний Восток, жить без претензий, записывать впечатления и писать только в блокноты»⁴⁰. Признанный, с благополучной писательской карьерой, Ф. В. Гладков, член президиума I-го Съезда ССП, будущий дважды лауреат Сталинской премии, гневно заносит в дневник 1935 г. следующую запись: «затравили вконец... Они выбросили меня за пределы литературы... Как все это надоело и как скучно жить в литературном мире. Хочется уйти от жизни...»⁴¹. Переживший годы жестокой травли А. Н. Афиногенов пишет: «Уехать бы куда-нибудь и писать в одиночестве. Но как далек я сейчас от мыслей о славе, наградах, почестях и о больших театрах. Мне бы пойти в маленький, молодой, живой театр и видеть там глаза, полные интереса к происходящему в искусстве, не знать никого из “заслуженных” и работать до потери сил над тем, что кажется интересным и настоящим»⁴².

Но, помимо этих наполненных усталостью, отчаянием и обидой строк, есть в дневниках записи о желании работать, писать, быть нужным стране и народу, участвовать в общем течении жизни. Это заставляло скрывать свои мысли

и оценки, вырабатывать двойное сознание, разнообразные модели поведения, и порождало недоверие друг к другу, подозрительность. В такой атмосфере репрессивная политика власти воспринималась как заслуженная кара, справедливое возмездие для одних и духовное очищение для других. Так А. Н. Афиногенов записал в дневнике 1939 г.:

«Мы уже очень далеко уплыли друг от друга, но еще видны концы мачт, и при встрече мы трубим, приветствуя, но как понятны стали люди после двух лет испытаний. И как нужен теперь внутренний перелом, подъем, осязательный для самого взлет творческого духа, способного создать что либо истинно новое, подлинное... Первым испытанием на этом пути, которое я с честью выдержал — было отношение к наградам писателей. В эти дни писателей наградили орденами. Сто семьдесят орденов. Среди них моих друзей, люди, которым орден облегчит жизнь сразу: Кассиль, Инбер, Сейфулина... Много, говорят, было обид и вопросов. Почему не дали Пастернаку? Не дали Олеше, Бабелю, Сви́рскому, Финну, Светлову, Голодному и т.п. Почему, почему, почему? И обо мне поминали — почему мне ничего не дали. Сам же я себя спрашивал, что же чувствую я? Я не только не завидовал награжденным, я радовался тому, что мне не дали ничего. Это позволило мне впервые после восстановления моего — проверить себя как следует и спросить — что же ты такое вынес из всего прожитого за эти два года, и какой ты теперь стал. Ведь три года назад — я бы бегал и падал в истерике, и клял несправедливость, и письма писал, и добивался бы исправления ошибки. Подлинный путь есть проникновение в то, что составляет искусство»⁴³.

И Ф. Gladков, и А. Афиногенов, и А. Gladков пережили 1930-е годы, не разделив участи многих своих современников-литераторов, расстрелянных или отправленных в лагерь, они составили ряды советской литературной элиты. Чем было наполнено для них это десятилетие, в полной мере отражают дневники, сохранившие на своих страницах все тревоги, переживания, надежды и разочарования, творческие замыслы, подробности частной и общественной жизни автора.

Их дальнейшие судьбы сложились по-разному. А. Афиногенов погиб в 1941 г. во время налета фашистской авиации на Москву. Ф. Gladков благополучно пережил войну, написал ряд новых романов и получил в начале 1950-х гг. две Сталинские премии. А. Gladков в 1941 г. создал свою знаменитую пьесу «Давным давно», в 1948 г. был отправлен в лагерь «за хранение антисоветской литературы», вышел на свободу в 1954 г. Оставил воспоминания о В. Э. Мейерхольде, Б. Л. Пастернаке, Ю. К. Олеше.

Примечания

- 1 Громова Н. Ю. Узел. Поэты: дружба и разрывы. М., 2006. С. 8.
- 2 Цит. по: Громова Н. Ю. Указ. соч. С. 431.
- 3 Там же. С. 6.
- 4 Антипина В. А. Повседневная жизнь советских писателей 1930–1950-е гг. М., 2005; Громова Н. Ю. Все в чужое глядят окно. М., 2002; Яковская Г. А. Сценарии профессиональной идентичности советских художников в годы сталинизма // Проблемы российской истории. Вып. VIII. М.; Магнитогорск, 2007. С. 375–386; и др.
- 5 Громова Н. Ю. Узел... С. 8.
- 6 Голубцова В. С. Мемуары как исторический источник по истории советского общества. М., 1970. С. 65.
- 7 РГАЛИ. Ф. 2590. Оп. 1. Д. 71. Л. 51.

- 8 Там же. Л. 48.
- 9 *Громова Н. Ю.* Узел... С. 162.
- 10 РГАЛИ. Ф. 2590. Оп. 1. Д. 74. Л. 40 об.
- 11 Там же. Д. 75. Л. 28.
- 12 Там же. Ф. 1052. Оп. 7. Д. 11. Л. 5, 9.
- 13 *Афиногенов А.* Дневник 1937 г. // Современная драматургия. 1993. № 3. С. 218.
- 14 РГАЛИ. Ф. 1052. Оп. 7. Д. 11. Л. 6.
- 15 Там же. Ф. 2172. Оп. 3. Д. 3. Л. 6.
- 16 Там же. Ф. 1052. Оп. 7. Д. 11. Л. 10.
- 17 Накоряков Николай Никандрович (1881–1970), член Союза писателей СССР. С 1922 г. работал в Госиздате. Один из организаторов издательства «Советская энциклопедия».
- 18 Ставский (Кирпичников) Владимир Петрович (1900–1943), писатель, автор повестей, рассказов, очерков о коллективизации. Активный деятель РАПП, в 1928–1933 гг. секретарь РАПП. С 1933 г. один из секретарей Союза писателей, с 1936 по 1941 г. ответственный секретарь правления Союза писателей. Одновременно в 1937–1943 гг. главный редактор «Нового мира». Погиб на фронте.
- 19 Панферов Федор Иванович (1896–1960), писатель, автор романа «Бруски» (1928–1937), посвященного коллективизации. В 1931–1960 гг. главный редактор журнала «Октябрь», дважды лауреат Сталинской премии (1948, 1949).
- 20 Петров-Бирюк (Петров) Дмитрий Ильич (1900–1977), писатель, автор трилогии «Сказание о казаках» (1935–1951), исторических романов и произведений о гражданской войне.
- 21 Колосов Марк Борисович (1904–1989), прозаик, драматург, автор рассказов и очерков о рабочей молодежи.
- 22 РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Д. 3. Л. 33, 42.
- 23 Там же. Ф. 1052. Оп. 7. Д. 11. Л. 9.
- 24 Там же. Л. 13.
- 25 Там же. Ф. 2172. Оп. 3. Д. 3. Л. 45, 188.
- 26 Тальников (Шпитальников) Давид Лазаревич (1882–1961), литературный критик и театровед.
- 27 Шпет Густав Густавович (1879–1937), философ, в 1923–1929 гг. вице-президент Государственной академии художественных наук. Репрессирован; посмертно реабилитирован.
- 28 РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Д. 3. Л. 8.
- 29 *Пришвин М. М.* Дневники. 1930–1931. Кн. 7. СПб., 2006. С. 10.
- 30 РГАЛИ. Ф. 2172. Оп. 3. Д. 3. Л. 56.
- 31 Там же. Ф. 1052. Оп. 7. Д. 11. Л. 16.
- 32 Там же. Л. 10.
- 33 Там же. Ф. 2172. Оп. 3. Д. 3. Л. 183.
- 34 Там же. Л. 158.
- 35 Там же. Ф. 2590. Оп. 1. Д. 78. Л. 71.
- 36 Имеется в виду главный герой одноименного романа Синклера Льюиса (1922).
- 37 РГАЛИ. Ф. 2590. Оп. 1. Д. 74. Л. 4 об.
- 38 Там же. Ф. 1052. Оп. 7. Д. 11. Л. 42.
- 39 Там же. Ф. 2590. Оп. 1. Д. 71. Л. 78 об.
- 40 Там же. Д. 74. Л. 11.
- 41 Там же. Ф. 1052. Оп. 7. Д. 11.
- 42 Там же. Ф. 2172. Оп. 3. Д. 3. Л. 185.
- 43 Там же. Л. 188, 195.